



Лев Рубинштейн
Тайный ход



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)
Р82

Книга издана в рамках проекта 24 —
платформы для книг и кино нового времени

Составитель и редактор Николай Толоконников
Дизайн Rassvet 2

В оформлении обложки использована работа
Виктора Пивоварова

Рубинштейн Л.С.

Р82 Тайный ход. — М.: Новое издательство, 2024. — 88 с.

ISBN 978-5-98379-273-9

Тайный ход прорыт из Кремля в Загорск и проходит где-то рядом с дачной Тайнинкой, но его надо искать. Тайный ход соединяет немолодого человека с его детством и ведет в спасительное укрытие памяти — но оно может быть разрушено. «Тайный ход» — неоконченная проза Льва Рубинштейна о семье и детстве и стихи «в столбик», написанные им в последние годы.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)

ISBN 978-5-98379-273-9

© 24

От составителя

В настоящую книгу вошли немногочисленные стихотворения «в столбик», которые Лев Рубинштейн писал начиная с середины 2010-х годов (стихотворение «Зимние каникулы» также существует в «карточной» версии, с пронумерованными строками), и его неоконченная фрагментарная проза о детстве, за работу над которой он взялся осенью 2023 года. Тексты печатаются по материалам личного архива Л.Р., в некоторых случаях уточненным и дополненным благодаря авторским публикациям в социальных сетях и стихотворной подборке «Голубиная почта» на сайте проекта «Культурная инициатива» (2017). Порядок поэтических текстов и прозаических фрагментов произвольно определен составителем книги.

Сердечная благодарность Ирине Головинской и Марии Рубинштейн, без доброй воли и помощи которых это издание не было бы возможно.

Зимние каникулы

Во дворе гуляли вместе
А на следующий день Степанов Юра
В школу не пришел
Что такое почему так

По дороге домой
Встретил Нину Николавну
С сумкой Юрину мать
Говорит заболел тридцать девять

На следующий день
Уроков почти не было
То есть было всего два
Завтра ж каникулы

Первый урок читали книжку про Леню
Голикова второй урок раздавали
Табели с оценками
Ну и всё и по домам

Решили проведать больного
Товарища пошли втроем
Я Смирнов и зачем-то
Таня Чвилева отличница

По дороге купили в аптеке
Пачку гематогена гостинец
Больному по кусочку всё же
Съели остальное ему

Пришли вытерли ноги сняли галоши
Юра в кровати румяный веселый
Ну ясно температура
Отдали ему его табель сплошные тройки

Нина Николавна весело так говорила
Говорила же ему одень кальсоны
А он не слушает бегаёт без кальсон
И вот пожалуйста заболел

Мы со Смирновым переглянулись
Отличница Чвилева зарделась
Юра Степанов укоризненно глянул на мать
В смысле что мама нельзя же так

Нельзя же при девочках
Про кальсоны нельзя же
Нельзя же так
Нельзя так мама нельзя ты что

Потом мы ушли и спохватились
Что гостинец для больного так и остался
У нас мы его честно разделили
И съели и начались каникулы

Но она, эта злополучная подлива, еще и универсальный, с ходу понятный всем соотечественникам и соотечественницам символ того фатального водораздела, что делит соотечественников на тех, кто ходил в детский сад, и тех, кто туда не ходил.

Я, повторяю, туда не ходил. А потому я как обожал в детстве, так люблю и до сих пор всевозможный «общепит». Просто потому что он решительно отличался от маминой домашней стряпни, которая, разумеется, казалась скучной. А вот сосиски с горошком — это да, это праздник. А столовая хлебная котлетка со слипшимися макаронами и с... Да, да! С подливой! С ней! С той самой! И не надо делать выражение лица! Да! Я ее любил и до сих пор люблю ее! Вот только пропала она куда-то...

Ну вот, собственно... Начал я этот текст своим чистосердечным признанием в постыдной завистливости. И, пока я писал его, я имел твердое намерение озаглавить его тем же энергичным словом, каким назван известный роман Юрия Олеши, то есть словом «Зависть».

Но с одного признания я начал, а заканчиваю другим. Заканчиваю я признанием в тайной, а с этой минуты и явной любви к тому, что служит одним из самых устойчивых в наших широтах знаков тоскливой бесприютности и запрятанного глубоко внутрь каждого из нас неутолимого сиротства. Да, друзья, я люблю ее. Я скучаю по ней. И ее именем я называю мое скромное сочинение.

Брат

«Миша лежит на коврики!» — говорил я, и все вокруг смеялись. Да, такая у меня лет до четырех была особенность речи — «мама ходит в лахате», «дай мне сарах».

Взрослые считали это уникальным явлением. И даже высказывали на этот счет некоторые опасения. А я потом узнал, что эта штука свойственна многим детям и даже имеет какое-то название.

Миша — это мой старший брат. Он на девять лет старше меня. Он родился до войны, а я — после.

Его семейное прозвище было Доедалка. Потому что он всегда охотно доедал все то, что кто-нибудь не доел. А еще он на всю свою жизнь сохранил привычку стряхивать в ладонь хлебные крошки и отправлять их в рот. Я к этому так привык, что даже и не замечал. И эти крошки и эти «доедания» были одного и того же происхождения — война, эвакуация, полуголодное существование.

В эвакуации они с мамой жили в Уфе. Много разных историй.

Однажды, например, когда им выделили маленький земельный участок для картошки, мама дала Мишке ведро картофеля и велела посадить его ровными рядами. Когда он пришел со своим ведром на эту делянку, он сразу же понял, до чего же ему не хочется заниматься этой нудной деятельностью. И он выкопал одну ямку и высыпал туда весь наличный картофель.

«Все сделал?» — спросила мама, когда он вернулся. «Ага», — ответил он настолько уверенно, насколько ему позволяла его еще не очень тренированная совесть. «Молодец», — сказала мама.

Наступила, как говорится, пора урожая. И мама поехала с мешком и лопатой за молодой картошкой. Когда

она увидела посреди скудной пашни нечто вроде довольно буйно разросшегося, но одинокого, как анчар, дерева, она сразу все поняла.

По ее собственному признанию, она возвращалась домой, имея твердое намерение убить своего сына. Потом она сама ужасалась тому, что такое с ней было. Ее праведный гнев и ее отчаяние, хорошо понятные всем людям того поколения, которым до смерти снились кошмары, связанные с потерей хлебных карточек, слегка растрясались по дороге, и дело завершилось всего лишь парой-тройкой вполне легитимных подзатыльников.

Что мне запомнилось из нашего общего детства? Общим оно, впрочем, было недолго. Когда умер Сталин, брату было уже пятнадцать лет, и с тех пор он для меня перешел в разряд взрослых. Да и вообще с тех дней началась совсем какая-то другая жизнь и другая история.

Очень долго, до моих примерно студенческих лет, брат мне время от времени говорил: «Ну что? Может быть, прорвем?» — «Прорвем!» — радостно отзывался я. Кроме нас двоих этот короткий диалог не был понятен никому.

А дело было вот в чем. Когда-то, когда мне было лет шесть, а ему, соответственно, пятнадцать, он придумал для нас двоих такую странную игру. Он ложился на диван, выставив вперед руки и согнув в коленях ноги. Я же должен был со стороны ног, преодолевая его «отчаянное сопротивление», продвигаться в сторону его лица. Вся игра венчалась моим торжеством, когда мне удавалось в конце концов своим носом коснуться его носа. Удавалось мне это всегда, хотя и не сразу — надо было приложить усилия. Игра называлась почему-то «Прорывать оборону противника». Это у него, скорее всего, застряло

в голове со времен его военного детства и бесконечных сообщений Совинформбюро.

Постепенно это громоздкое, хотя и очень нарядное словосочетание превратилось в короткое «Прорвем? — Прорвем!».

Эта глупейшая и ничуть не развивавшая ни кругозора, ни интереса к знаниям, ни любви к Родине игра мне нравилась ужасно. Почему — не знаю. Возможно, потому что тактильные взаимоотношения с любимым братом успешно заменяли и то, и другое, и третье.

Брат был для меня непререкаемым авторитетом буквально во всех областях жизни. Родителей я всегда воспринимал как людей пожилых. Брат же был одновременно взрослым и молодым. Он был из поколения стилист. То поколение молодых людей танцевало (причем иногда в буквальном смысле) от той печки, какой стал в 1957 году Фестиваль молодежи и студентов.

Джаз, абстрактная живопись, молодежные кафе, вечера в Политехническом — все это живо волновало и меня. Я тянулся к его компании с их магнитофонами, гитарами, походами.

Так было почти до окончания школы. Потом у меня появились свои приоритеты, и мы не то чтобы отделились друг от друга, но пуповина как-то сама собой, без хирургического вмешательства, рассосалась.

А в памяти встает как живой один день, а точнее вечер 1952 года.

Это один из первых более или менее теплых дней. Сегодня я гулял уже не в шубе, а в длинном, на вырост, пальто с хлястиком.

А сейчас уже почти вечер. Стол накрыт. На столе нарезанный сыр с ярко-красной корочкой. Только что мама отдала мне цифру «2», выковырянную из этой корочки.

Я держу эту красивую цифру в руках и думаю, во что бы мне с ней поиграть.

Потом приходят две девочки и три мальчика. Брат открывает им дверь. Они что-то ему говорят и суют в руку что-то разное, завернутое в оберточную бумагу. Вот книга «Два капитана» с дарственной надписью: «Пусть и твоим девизом станет „Бороться и искать, найти и не сдаваться“». Вот флакон одеколona. Вот перочинный ножик. Вот что-то еще.

Брат не очень естественным голосом говорит всем по очереди «спасибо», и все входят в комнату. Девочки слегка одергивают платья, мальчики синхронно достают из нагрудных карманов расчески и причесываются.

На столе, кроме упомянутого сыра, — салат и шпроты. В вазе — яблоки.

Из кухни уже пахнет пирогом. Но пирог позже, к чаю. Еще лимонад, про который мне строго сказано, что он «для гостей». Но мне все равно налили полстакана, чтобы я смог чокнуться вместе со всеми.

Потом патефон, «Рио-Рита», танцы. Девочки — с девочками, а мальчики вообще не танцуют, стесняются.

Они все уже взрослые, не то что я. Мне пять лет всего, а брату и его гостям целых четырнадцать.

Это пятое апреля, Мишкин день рождения. Мишки уже сколько лет нет на этом свете, а память, ни на что не обращая внимания, как ни в чем не бывало знает себе делает свое дело. И правильно делает, между прочим.

Четыре дня

Все эти четыре дня после пятого марта до дня похорон за нашим окном все время шел снег и было как-то му-

чительно скучно. Но и тревожно тоже. Потому что мама с бабушкой вполголоса встревоженно говорили что-то друг другу и почему-то испуганно оглядывались в мою сторону.

До меня доносилось только: «Что же теперь будет? Как же теперь будет?» И правда, совсем непонятно в те дни было, что же и как же теперь будет — со страной, с детьми, с ними самими, со всеми остальными...

На кухне две тетки, две вдовы сестры с относительно недавним деревенским прошлым как начали ритуально и заунывно голосить днем пятого числа, так и продолжали до самых похорон, прерываясь на сон и посещение уборной.

И было ужасно скучно. И шел за окном снег.

Мне только что исполнилось шесть лет, у меня только что закончилась очередная ангина, но на улицу меня пока не пускают. «Завтра!» — говорит мама и добавляет: «Если будешь себя хорошо чувствовать». И совсем уже загадочно прибавляет: «И вообще если все будет в порядке». Что она имеет в виду?

Я сижу и жду, когда уже будет завтра. И я тоже очень надеюсь, что «все будет в порядке», хотя и не понимаю, о чем речь. И я слушаю радио. А там — вместо моих любимых радиоспектаклей — нескончаемая скучная музыка. Ужасно скучная музыка, прерываемая скорбным голосом Левитана, зачитывающего бесконечные телеграммы с практически одинаковыми словами глубокого соболезнования всему советскому народу в связи с кончиной...

И за окном снег. Все время снег.

Из школы приходит пятнадцатилетний старший брат. У них в школе только что прошел траурный митинг, и он еще не успел стереть с физиономии не слишком правдо-

подобное скорбно-торжественное выражение. Так с этим выражением на лице он и сел обедать.

Он молчит. Тайнственно молчит. Потому что он уже принял кое-какое решение, но он не намерен посвящать в это дело домашних. Он знает, что мама его не захочет отпускать туда, куда он собрался отправиться завтра.

А завтра он собрался вместе со своим авантюрным другом-одноклассником Юркой Винниковым, автором и разработчиком идеи, какими-то знакомыми проходными дворами и какими-то знакомыми крышами, через какие-то знакомые дырки в знакомых заборах пробраться туда, к Колонному залу, где будут проходить исторические похороны.

И пока мой брат с мрачно-тайнственным видом сидит за столом, угрюмо хлюпая, ест суп и вынашивает дерзкие планы на завтрашний день, пока мама и бабушка продолжают тревожно гадать, что же и как же теперь будет, пока я жду завтрашнего дня, как ждут условно-досрочного освобождения, где-то совсем недалеко от нас нескончаемая сумрачная толпа молчаливо движется, движется, движется под мокрым снегом в сторону Колонного зала.

И вот наступает завтра. И брат уходит куда-то, небрежно сообщив маме, что он идет к Юрке Винникову, чтобы немножко поднатаскать его перед контрольной по алгебре. И они с Юркой, встретившись в условленном месте, отправляются в свою траурную экспедицию.

И их, слава богу, где-то в районе Петровских Ворот останавливает наряд милиции. И они, слава богу, получив от дяденьки-милиционера по одному легкому отеческому поджопнику, с соответствующими нежными напутствиями отправлены восвояси. И вполне возможно, что таким образом они были спасены.

Про убийственную давку на Трубной площади станут шептаться лишь спустя несколько дней. И, разумеется, очень тихо. И, разумеется, не в моем присутствии.

А меня в этот день выпускают во двор, впервые за пару недель. И вот я радостно вдыхаю сырой мартовский воздух. И вот я прямо всеми клетками своего небольшого организма чувствую, что впереди бесконечно долгая и бесконечно увлекательная, как приключения Буратино, жизнь.

В дворе я сразу же встречаю Павлика Аронова, друга из соседнего подъезда. Он старше меня на целый год, он в этом году пойдет в школу, и он для меня большой авторитет. Не такой, конечно, как старший брат, но все же.

Павлик говорит: «Сегодня в пять часов вечера все машины остановятся и будут пять минут гудеть. И заводы все тоже будут гудеть. Давай и мы с тобой в пять часов встанем как вкопанные посреди двора и тоже погудим! Умешь гудеть?» Я попробовал. «Годится», — великодушно сказал Павлик.

Идея погудеть мне понравилась. Но она так и не осуществилась, потому что мы, дождавшись этих пяти часов и не услышав ниоткуда никаких гудков, затеяли совсем другую игру — игру, надо сказать, совсем не безопасную, о чем мы тогда, разумеется, не догадывались.

Игра была такая. Сначала я в полном несоответствии с первоначальным намерением «встать как вкопанные» принялся носиться как угорелый туда-сюда — от сарая к ржавому гаражу и обратно. Пока я так носился и махал руками, Павлик, по заданному сценарию исполняя роль резонера, как бы укоризненно говорил: «Не бегай! Ты что, не знаешь, что Сталин умер!» На что я — тоже в соответствии со сценарием — громко кричал: «А мне-то что!»

И мы с Павликом радостно хохотали. Что-то было неосознанно освобождающее в этом нашем дурацком хохоте.

Потом мы менялись. И тогда туда-сюда и тоже размахивая руками носился Павлик, а я его «урезонивал» тем, что, мол, Сталин умер, нехорошо, мол. А он диким петушиным голосом кричал: «А мне-то что!» И мы хохотали.

К счастью, никто не видел и не слышал этой спонтанной манифестации нашего стихийного антитоталитаризма. А если кто-нибудь видел и слышал, то никому об этом не рассказал.

Так мы, никем не замечаемые, носились с этими кощунственными воплями по двору примерно с час, если не дольше, и нас все это время переполняло идиотское необъяснимое счастье, которое умело внезапно настигать нас только в детстве, и все это время шел бесконечный мокрый снег.

Брат-2

Был и еще один брат у меня — второй, средний.

Он был младше старшего, Миши, на пару лет.

Он был де-факто не родным братом, а двоюродным. И его отец и его мать, Фира, старшая сестра моей мамы, погибли в самом начале войны. Отец — на фронте, мать — попала под трамвай через несколько дней после того, как получила похоронку.

Остался двухлетний мальчик, которого взяла к себе бабушка. А поскольку бабушка, мамина мама, жила вместе с нами, то и мальчик стал расти в нашей семье.

И он сам, и Миша, и, конечно же, я до поры до времени были уверены, что мы все трое — родные братья. И когда, уже после 7-го класса, он узнал о своем происхождении, узнал свое настоящее отчество и свою настоящую фамилию, он все равно всю жизнь продолжал называть моих родителей мамой и папой.

Его звали Гарик, полностью Григорий.

После 7-го класса ему выдали все его документы, и он отправился в Ленинград к родственникам своего отца. Потом был техникум. Потом армия. Потом институт. Потом все остальное.

Когда он приезжал к нам в Тайнинку, для меня это был долгожданный праздник.

Кажется, в первый год его ленинградской, то есть отдельной от нас жизни мы с мамой поехали в Ленинград, чтобы с ним повидаться и заодно чтобы мне показать этот волшебный город.

Это была моя самая первая поездка в Ленинград. Год был, кажется, 53-й. И было, кажется, лето. Так я думаю потому, что в поезде я слышал взволнованные разговоры взрослых о том, как могло случиться так, что Берия оказался врагом и шпионом. Сталина, стало быть, уже не было, а в школу я еще не пошел.

Ленинград произвел на меня сильнейшее впечатление. Особенно царь Петр на вздыбленном коне. Ну и вообще.

Гарик единственный из всей нашей семьи умел что-то делать руками. Он вырезал из деревяшек кинжалы. Он что-то выжигал увеличительным стеклышком на фанерке. Он однажды разобрал будильник, но, когда стал его собирать обратно, одна деталь оказалась лишней. Как он ни пытался ее куда-нибудь пристроить, будильник ее отказывался принимать.